

# Борис Васильев

## Старая «Олимпия»

В нашем переулке никогда не появляется интуристовский автобус. Маршруты проходят рядом — по широкой, прямой улице, подмявшей под себя тихие поленовские дворики. Здесь, у сверкающих неонам бесконечных витрин, тормозят машины и туристы степенно разминают ноги. Зрачки аппаратов привычно обшаривают монументальные фасады, гид торопливо и бесстрастно перечисляет квадратные метры стекла, тонны бетона и кубы пространства, и автобус трогается.

Когда в моей комнате открыто окно, я слышу вздохи автобуса, шелест дверей, монотонный голос гида. Мой дом — за спиной ультрасовременного проспекта. Когда прокладывали магистраль, снесли деревянные дома и построили панельные; наш дом уцелел чудом. Правда, он каменный и трехэтажный, но три его этажа равны пяти современным.

Мы живем на самом верху — там, где нелепо торчит единственный балкон. А попасть к нам можно только со двора по узкой лестнице со стертymi каменными ступенями. Она ведет под крышу. Здесь площадка и дверь, обитая старым

войлоком. На косяке — звонок, а под ним — табличка с семью фамилиями.

Когда — то в школе учитель истории показал нам план Москвы конца восемнадцатого столетия, и я нашел на том плане наш дом. Он сгорел во время великого московского пожара, но фундамент остался. После урока мы спускались в подвал и нюхали стены: они пахли порохом 1812 года.

За стеной моей комнаты день и ночь стучит машинка. В нашей квартире не принято ворчать по этому поводу: работа есть работа. И когда в коридоре раздается один никому не адресованный звонок, дверь открывает тот, кто оказался ближе.

— К машинистке? Вторая дверь налево.

Посетитель исчезает за указанной дверью, и если задержаться в коридоре, то почти всегда услышишь один и тот же диалог:

— Ваша машинка берет пять экземпляров?

— Семь. У меня хорошая машинка. У меня старая «Олимпия».

Итальянский фильм «Рим, 11 часов» она любила больше всех фильмов. Это был фильм о машинистках, а значит, о ней. Она смотрела его двадцать восемь раз и знала наизусть:

«— О, вы прямо пулемет!..

— Старый пулемет, синьор...»

Слезы текли по ее лицу, и она очень стеснялась, потому что в зрительном зале больше

никто не плакал. Она торопливо вытирала глаза скомканным платочком, кусала губы, но слезы все равно текли и текли и мешали смотреть. От слез затуманивались очки, их приходилось снимать, а фильм не ждал, фильм шел дальше, и тогда она плакала без очков.

— Семь экземпляров. У меня старая «Олимпия».

Она говорила с печальной гордостью. Она гордилась своей машинкой и считала старой не ее, а себя. И все во дворе называли ее «Старой «Олимпией». Разумеется, за глаза.

— Катька, война — а!.. С немцами, Катька! Ур — ра!..

Это кричал я. Мне было тогда тринадцать, но я до сих пор не могу простить себе того идиотского восторга. Я плясал на темных кирпичах нашего двора, а из всех окон на меня молча смотрели неподвижные лица жильцов. А я орал и бесновался, потому что ее окно было закрыто.

— Катька, Киев бомбили!..

Окно распахнулось, и Катя почти по пояс высунулась наружу. Она была без кофточки и прикрывала руками голые плечи.

— Ты дурак, да?

Я обиделся и замолчал. Я был тайно влюблен в Катю, а она упорно считала меня младенцем.

Накануне у нее был выпускной вечер, и она целовалась впервые в жизни.

...Через две недели провожали вчерашних десятиклассников. Ломкая колонна неторопливо вытягивалась из школьного двора, а по обе стороны стояли люди. Мальчишки кричали и махали плакатами, взрослые молчали. Колонна двинулась по переулку, сворачивая на Арбат, к Смоленской, провожающие шли по тротуарам, а девушки, надевшие в этот день лучшие свои платья, в драгоценных туфельках семенили по мостовой. В конце Арбата стали отставать знакомые, потом друзья, но девушки шли до конца, до Киевского вокзала, до ворот, дальше которых никого не пускали. И стояли у этих ворот тихо и обреченно, пока ребят не погрузили в эшелоны.

На другой день я не узнал Кати. Она разговаривала теперь негромко и коротко, улыбалась мельком, ходила строгой и важной. И подружки ее, собираясь, уже не хохотали, не прыгали через три ступеньки, и голоса их не звенели больше во дворе. Тогда я думал, что расстались они с любовью, и даже злорадствовал, но теперь понял, что в тот день расстались они с юностью. Она ушла из их жизни ломкой колонной вчерашних десятиклассников, отстучала подошвами по арбатскому асфальту, и хмурые

сторожа со скрипом закрыли за нею тяжелые ворота киевского грузового двора. Закрыли навсегда.

...Осенью вслед за юностью ушла и Катя. Ее долго не хотели брать, потому что ей было только семнадцать, но Катя добилась своего. Утром постучала в нашу комнату.

— Ну, до свидания, — сказала она мне и подала руку, как взрослому. — Смотри, маленьких не обижай!

Ее долго целовали плачущие женщины, совали на дорогу припрятанные шоколадки. Катя что — то говорила, улыбалась, и глаза у нее были сухие. А я стоял в углу и молчал: кажется, именно в то утро я начал понимать, что такое война.

Семнадцать лет и хрупкость все — таки подвели Катю: ее не взяли ни в разведку, ни в связь, ни даже в санитарки. Ее направили в штаб армии и вместо автомата вручили разбитый «Ундервуд».

— Портянок зимних — двадцать тысяч шестьсот сорок три пары. Рубах нательных теплых... из них первого роста... второго... Напечатала, Катюша?

Лысый, страдающий аритмией начальник вещевого довольствия подполковник Глухов был ее первым «полководцем». Он научил ее печатать на машинке и подшивать документы, познакомил с армейским бытом, защищал, наставлял и берег: